

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tolstoyleo.ru/> приятного чтения!

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой

Первый день

Бродячие люди

В наше время по деревням завелось нечто совершенно новое, невиданное и неслыханное прежде. Каждый день в нашу деревню, состоящую из восьмидесяти дворов, приходят на ночлег от шести до двенадцати холодных, голодных, оборванных прохожих.

Такие люди, оборванные, почти раздетые, разутые, часто больные, до последней степени грязные, приходят в деревню и идут к десятскому. Десятский же, для того чтобы эти люди не умерли на улице от холода и голода, разводит их по местным жителям, считая жителями только крестьян. Десятский не ведет их к помещику, у которого, кроме своих десяти комнат в доме, есть еще десятки помещений и в конторе, и в кучерской, и в прачечной, и в белой и в черной людской, и в других заведениях; ни к священнику или дьякону, торговцу, у которых хоть и небольшие дома, но все-таки есть некоторый простор, а к тому крестьянину, у которого вся семья: жена, снохи, девки, большие и малые ребята, все в одной семи-восьми-десятиаршинной горнице. И хозяин принимает этого голодного, холодного, вонючего, оборванного, грязного человека и дает ему не только ночлег, но и кормит его.

– Сам за стол сядешь, – говорил мне старик хозяин, – нельзя и его не позвать. А то и в душу не пойдет, и покормишь, в чайком попишь.

Таковы ночные постояльцы; но среди дня зайдут в каждый крестьянский дом не два, не три таких посетителя, а десять и больше. И то же: «нельзя же...»

И всякому баба, несмотря на то что хлеба далеко не достает до новины, отрежет ломоть, смотря по человеку, потолще или потоньше.

– Коли всем подавать, и на день ковриги не хватит, – говорили мне хозяйки. – Другой раз согрешишь и откажешь.

И так это происходит каждый день по всей России. Огромная, с каждым годом все увеличивающаяся, армия нищих, калек, административно ссыльных, беспомощных стариков и, главное, безработных рабочих живет, помещается, то есть укрывается от холода и непогоды, и кормится прямо непосредственно помощью самого тяжело трудящегося и самого бедного сословия – деревенского крестьянства.

У нас есть работные, воспитательные дома, есть приказы общественного призрения, есть всякого рода благотворительные учреждения по городам. И во всех этих учреждениях, в зданиях с электрическими освещениями, паркетными полами, чистой прислужкой и разными, с хорошим жалованьем, служащими, призываются тысячи всякого рода беспомощных людей. Но как ни много таких людей, все это только капля в море того огромного населения (цифра эта неизвестна, но должна быть огромна), которое теперь, нищенствуя, бродит по России и призывается и кормится без всяких учреждений одним крестьянским деревенским народом, только своим христианским чувством побуждаемым к несению этой огромной и тяжелой повинности.

Только подумать о том, что заговорили бы живущие некрестьянскую жизнью люди, если бы в каждую спальню к ним ставили на ночь, хоть раз в неделю, одного такого измерзшегося, изголодавшегося, грязного, вшивого прохожего. Крестьяне же не только помещают их, таких прохожих, но и кормят их и чаем поят, оттого что «в душу самому не пойдет, если не посадить с собой за стол». (В глухих местах Саратовской, Тамбовской и других губерний крестьяне не дожидаются того, чтобы десятский привел такого прохожего, а сами всегда без отказа принимают и кормят таких людей.)

И как все истинно добрые дела, крестьяне не переставая делают это, не замечая того, что это доброе дело. А между тем дело это, кроме того, что есть доброе дело, «для души», есть дело и огромной важности для всего русского общества. Важность этого дела для всего русского общества состоит в том, что, если бы не было этого крестьянского народа и не было бы в нем того христианского чувства, которое так сильно живет в нем, трудно представить себе, что бы было не только с

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
этими сотнями тысяч несчастных бездомных, бродящих людей, но и со всеми достаточными, в особенности богатыми деревенскими жителями, живущими оседлой жизнью.

Надо только видеть ту степень лишения и страдания, до которой дошли или доведены эти бездомные, бродящие люди, и вдуматься в то душевное состояние, в котором они не могут не находиться, для того чтобы понять, что только эта помощь, оказываемая им крестьянами, удерживает их от вполне естественных в их положении насилий над теми людьми, которые владеют в излишке всем, что им, этим несчастным людям, необходимо только для поддержания своей жизни.

Так что не благотворительные общества и не правительство с своими полицейскими и разными судебными учреждениями ограждают нас, людей достаточных классов, от напора на нас дошедшего и большей частью доведенного до последней степени нищеты и отчаяния бродячего, голодного и холодного, бездомного люда, а ограждает, так же как и содержит и кормит нас, опять-таки все та же основная сила жизни русского народа – крестьянство.

Да, не будь среди огромного населения русского крестьянства того глубокого религиозного сознания братства всех людей, уже давно, несмотря ни на какую полицию (ее же так мало и не может быть много в деревнях), не только разнесли бы эти бездомные люди, дошедшие до последней степени отчаяния, все дома богатых, но и поубивали бы всех тех, кто стоял бы им на дороге. Так что надо не ужасаться и удивляться на то, что, как это мы слышим и читаем, ограбили, убили человека с целью ограбления, а понимать и помнить то, что если это так редко случается, то обязаны мы этим только той бескорыстной помощи, которую оказывает крестьянство этому несчастному, бродячему населению.

К нам в дом заходит ежедневно от десяти до пятнадцати человек. Из этого числа есть настоящие нищие, такие, которые почему-либо избрали этот способ прокормления, сшили себе сумы, оделись, обулись, как могли, и пошли по миру. Есть между этими слепые, безрукие или безногие, есть, хотя изредка, дети, женщины. Но таких малая часть. Большинство же нищих теперь – это нищие прохожие без сумы, большею частью молодые и не калеки. Все они в самом жалком виде, разутые, раздетые, исхудалые, дрожащие от холода. Спросишь: «Куда идете?» Ответ почти всегда один: «Искать работы», или: «Искал работы, да не нашел, ворочаюсь домой. Нет работы, везде прикрывают». Есть среди этих немало и возвращающихся из ссылки.

Из этого-то большого числа нищих прохожих есть много самого различного свойства: есть люди явно пьющие, доведенные до этого своего положения вином, есть малограмотные, но есть вполне интеллигентные, есть скромные, стыдливые, есть, напротив, назойливые, требовательные.

На днях, только проснулся, Илья Васильевич говорит мне:

- У крыльца пятеро прохожих.
- Возьмите на столе, – говорю я.

Илья Васильевич берет и подает, как заведено, по пять копеек. Проходит около часа. Я выхожу на крыльцо. Ужасно оборванный, в совершенно развалившейся обуви маленький человек, с нездоровым лицом, подпухшими бегающими глазами, начинает кланяться и подает свидетельство.

- Вам подали?
- Ваше сиятельство, что же я с пятаком сделаю? Ваше сиятельство, войдите в мое положение. – Подает свидетельство. – Извольте посмотреть, ваше сиятельство, извольте видеть, – показывает на свою одежду. – Куда я могу, ваше сиятельство (на каждом слове «ваше сиятельство», а на лице ненависть), что мне делать, куда мне деваться?

Я говорю, что подаю всем одинаково. Он продолжает умолять, требуя, чтобы я прочел свидетельство. Я отказываю. Становится на колени. Я прошу его оставить меня

- Что же, мне, значит, руки на себя наложить? Одно остается. Больше делать

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой to1stoy1eo.ru нечего. Хотя что-нибудь.

Даю двадцать копеек, он уходит, очевидно, озлобленный.

И таких, то есть особенно неотвязных, очевидно признающих за собой право требовать своей доли у богатых, особенно много. Это все большей частью люди грамотные, часто даже начитанные и для которых недаром прошла революция. Эти люди видят в богатых, не как обыкновенные старинные нищие, людей, спасающих свою душу милостыней, а разбойников, грабителей, пьющих кровь рабочего народа; очень часто такого рода нищий сам не работает и всячески избегает работы, но во имя рабочего народа считает себя не только вправе, но обязанным ненавидеть грабителей народа, то есть богатых, и ненавидит их всей силой своей нужды, и если просит, а не требует, то только притворяется.

Таких людей, притом же и пьющих, про которых хочется сказать, что они сами виноваты, много; но немало среди бродячих людей и людей совершенно другого склада, кротких, смиренных и очень жалких, и страшно подумать про положение именно этих людей.

Вот высокий красивый человек, в одном оборванном и коротком пиджаке. Сапоги уже плохи и стоптаны, умное, хорошее лицо. Снимает картуз, просит, как обыкновенно. Я подаю, он благодарит. Я спрашиваю: откуда? куда?

– Из Петербурга, домой в деревню (нашей губернии).

Спрашиваю: отчего же так, пешком?

– Длинная история, – говорит он, пожимая плечами.

Я прошу рассказать. Рассказывает, очевидно, правдиво, как он «жил в Петербурге, было хорошее место конторщика, тридцать рублей». Жил очень хорошо. «Ваши книги читал: „Войну и мир“, „Анну Каренину“, – говорит, опять улыбаясь особенно приятной улыбкой.

«И вздумали домашние, – продолжает он рассказ, – переселиться в Сибирь, в Томскую губернию». Написали ему, спрашивая, согласен ли он продать свою часть земли на старом месте. Он согласился. Домашние уехали, но оказалось, что земля им в Сибири попала дурная, они прожились там и вернулись домой. Живут теперь на квартирах в своей деревне, без земли, кормятся работой. Случилось, что к тому же времени и его жизнь в Петербурге разладилась. Первое – потерял место, и не от себя, а фирма, в которой служил, разорилась, распустила служащих. «А тут, по правде сказать, сошелся с швейкой, – опять тоже улыбаясь, – совсем замотала она меня. То помогал своим, а теперь вот каким козырем. Ну, да бог не без милости, может и справлюсь».

Очевидно, и умный, и сильный, деловитый человек, и только ряд случайностей привел его в теперешнее положение.

Или другой: в опорках, подпоясан веревкой. Одежда вся-вся в расползшихся дырках, очевидно не прорванная, но изношена до последней степени, лицо скуластое, приятное, умное и трезвое. Я подаю обычные пять копеек, он благодарит. Разговорились. Он административно-ссылный, жил в Вятке. И там плохо было, а теперь уж и вовсе худо, идет в Рязань, где жил прежде. Спрашиваю: чем был?

– Газетчиком, разносил газеты.

– За что пострадал?

– За распространение нелегальной литературы.

Разговорились про революцию. Я сказал свое мнение о том, что всё в нас самих, что такую огромную силу нельзя сломить силою.

– Уничтожится зло вне нас, только когда оно уничтожится в нас, – говорю я.

– Так-то так, да не скоро.

– От нас зависит.

- Я читал вашу книгу о революции.
- Это не моя, но я так же думаю.
- Хотел просить вас о ваших книгах.
- С удовольствием. Только как бы не повредить вам. Я дам самых невинных.
- Да мне что? Я уже ничего не боюсь. Для меня тюрьма лучше, чем так. Я тюрьмы не боюсь. Другой раз желаю, – грустно проговорил он.
- Как жалко, что столько сил тратится напрасно, – говорю я, – вот такие люди, как вы, как расстраиваете свою жизнь. Ну, как же вы теперь? Что намерены делать?
- Я-то? – проговорил он, вглядываясь мне в лицо.

То он весело и бойко отвечал мне, когда дело касалось прошедшего и общих вопросов, но как только дело коснулось его и он увидел мое сочувствие, он отвернулся, закрыл рукавом глаза, и затылок его затрясся.

И сколько таких людей!

Такие люди жалки, трогательны, но и эти люди стоят у того порога, перешагнув который начинается положение отчаянности, в котором добрый человек становится готовым на все.

«Сколь устойчивой ни казалась бы нам наша цивилизация, – говорит Генри Джордж, – а в ней развиваются уже разрушительные силы. Не в пустынях и лесах, а в городских трущобах и на больших дорогах воспитываются те варвары, которые сделают с нашей цивилизацией то же, что сделали гунны и вандалы с древней».

Да, то, что лет двадцать тому назад предсказывал Генри Джордж, совершается теперь на наших глазах везде и с особенной яркостью у нас в России, благодаря удивительному ослеплению правительства, старательно подкапывающего ту основу, на которой стоит и может стоять какое бы то ни было общественное благоустройство.

Вандалы, предсказанные Джорджем, уже вполне готовы у нас в России. И они, эти вандалы, эти отпетые люди, особенно ужасны у нас, среди нашего, как это ни странно кажется, глубоко религиозного народа. Вандалы эти особенно ужасны у нас именно потому, что у вас нет того сдерживающего начала, следования приличию, общественному мнению, которое так сильно среди европейских народов. У нас либо истинное, глубоко религиозное чувство, либо полное отсутствие всяких, каких-либо сдерживающих начал: Стенька Разин, Пугачев... И, страшно сказать, эта армия Стеньки и Емельки все больше и больше разрастается благодаря таким же, как и пугачевские, деяниям нашего правительства последнего времени с его ужасами полицейских насилий, безумных ссылок, тюрем, каторги, крепостей, ежедневных казней.

Такая деятельность освобождает Стенек Разиных от последних остатков нравственных стеснений. «Уже если ученые господа так делают, то нам-то и бог велел», – говорят и думают они.

Я часто получаю письма от этого разряда людей, преимущественно ссыльных. Они знают, что я что-то такое писал о том, что не надо противиться злу насилием, и большую часть, хоть и безграмотно, но с большим жаром возражают мне, говоря, что на все то, что делают с народом власти и богатые, можно и нужно отвечать только одним: мстить, мстить и мстить.

Удивительна слепота нашего правительства. Оно не видит, не хочет видеть того, что все, что оно делает для того, чтобы обезоружить врагов своих, только усиливает число их и их энергию. Да, люди эти страшны: страшны и для правительства, и для людей богатых, и для всех людей, живущих среди богатых.

Но, кроме чувства страха, которое возбуждают эти люди, есть еще и другое чувство, и чувство гораздо более обязательное, чем чувство страха, чувство, которое не можем мы все не испытывать по отношению людей, попавших рядом случайностей в это ужасное положение бродяжнической жизни. Чувство это – чувство

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой to1stoy1eo.ru
стыда и сострадания.

И не столько страх, сколько это чувство стыда и сострадания должно заставить нас, людей, не находящихся в этом положении, ответить так или иначе на это новое, ужасное явление русской жизни.

Второй день

Живущие и умирающий

Я сижу за работой, приходит тихо Илья Васильевич и, очевидно не желая отрывать меня от дела, говорит, что давно дожидают прохожие и женщина.

– Возьмите, пожалуйста, и подайте.

– Женщина по какому-то делу.

Прошу подождать и продолжаю работу. Выхожу, совершенно забыв о просительнице. Из-за угла выходит молодая длиннолицая, худая, очень бедно, холодно по погоде одетая крестьянка.

– Что нужно, в чем дело?.

– К вашей милости.

– Да об чем? В чем дело?.

– К вашей милости.

– Да что?

– Не по закону отдали. Осталась одна с трюмя детьми.

– Кого, куда отдали?

– Хозяина мово в Крапивну угнали.

– Куда, зачем?

– В солдаты, значит. А не по закону, потому один кормилец. Нельзя нам без него прожить. Будьте отец родной.

– Да что он, одинокий разве?

– Один как есть.

– Так как же одинокого отдали?

– А кто их знает. Вот осталась одна с ребятами. Делай что хошь. Одно – помирать надо. Да ребят жалко. Только и надежа, что на вашу милость, потому не по закону, значит.

Записал деревню, имя, прозвище, говорю, что узнаю – дам знать.

– Помогните хоть сколько-нибудь. Ребята есть хотят, а верьте богу, куска хлеба нет. Пуще всего грудной. Молока в грудях нет. Хоть бы бог прибрал.

– Коровы разве нет? – спрашиваю.

– Какая у нас корова? Голодом все помираем.

Плачет и вся трясется в своей рваной поддевочке.

Отпускаю ее и собираюсь на обычную прогулку. Оказывается, что живущему у нас врачу есть дело к больному в той самой деревне, из которой приходила солдатка, и в той, где волостное правление. Я присоединяюсь к врачу, и мы вместе едем.

Заезжаю в волость. Врач идет в той же деревне по своим делам.

Старшины нет, нет и писаря, один помощник писаря, молодой, умный, знакомый мне

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой to1stoy1eo.ru мальчик. Расспрашиваю о муже солдатки. Почему отдан одинокий? Помощник справляется и говорит, что солдаткин муж не одинокий, а что их два брата.

– Как же она говорила мне, что он одинокий?

– Врет. Они всегда так, – говорит он, улыбаясь.

Справляюсь по разным нужным мне делам в волостном правлении. Заходит врач, окончив свое посещение больного, и мы вместе едем, направляясь в ту деревню, где живет солдатка. Но еще до выезда из села быстро выходит нам наперерез девочка лет двенадцати.

– К вам, верно, – говорю я доктору.

– Нет, я к вашей милости, – обращаясь ко мне, говорит девочка.

– Что нужно?

– К вашей милости. Как мать померши и остались мы одни сироты. Пятеро нас... Помогните как, обдумайте нужду нашу...

– Да ты откуда?

Девочка указывает дом кирпичный, довольно хороший.

– Я здешняя, вот и дом наш. Зайдите, сами увидите.

Выхожу из саней, иду к дому. Из дома выходит женщина и приглашает войти. Женщина эта – тетка сирот. Вхожу. Чистая, просторная горница. Все дети налицо. Четверо, кроме старшей: два мальчика, одна девочка в меньшей опять мальчик двухлетний. Тетка рассказывает подробно положение семьи. Два года тому назад отца детей задавило в рудокопной шахте. Хлопотали о вознаграждении, ничего не вышло. Осталась вдова с четырьмя детьми, пятого родила без него. Без мужика бились кое-как. Вдова нанимала сначала работать землю. Да без мужика все шло хуже да хуже, сначала корову проели, а потом и лошадь, осталось две овцы. Всё жили кое-как, да вот с месяц тому назад сама заболела, померла. Осталось пять человек детей, старшей двенадцать.

– Кормись как хочешь. Помогаю по силам, – говорит тетка, – да сила наша малая. И ума не приложу, что с детьми делать. Хоть бы померли. В приют бы куда определить детей, хоть не всех.

Старшая девочка, очевидно, все понимает, вникает в наш разговор с теткой.

– Хоть бы этого вот, Миколашку, куда пределить, а то с ним беда, никуда отойти нельзя, – говорит она, указывая на двухлетнего бодрого мальчугана, весело смеющегося чему-то с сестренкой и, очевидно, совсем не согласного с желанием тетки.

Я обещаюсь хлопотать о помещении кого-либо из детей в приют. Девочка старшая благодарит и спрашивает, когда прийти за ответом. Глаза всех детей, даже и Миколашки, устремлены на меня, как на какое-то волшебное существо, которое все может сделать для них.

Выйдя из дома, не доходя до саней, встречаю старика. Старик здоровается и тотчас же начинает говорить о сиротах же.

– Бяда, – говорит он, – жалость смотреть на них. И девчонка старшенькая как хлопочет. Ровно мать им. И как ей только бог дает. Спасибо, люди не покидают, а то как есть голодом бы померли, сердешные. Вот уж таким и не грех помочь, – говорит он, очевидно советуя сделать это мне.

Прощаемся со стариком, с теткой, с девочкой и едем с врачом в деревню к утренней солдатке.

Спрашиваю у первого двора, где живет солдатка. Оказывается, что в этом первом дворе живет очень знакомая мне вдова, живущая милостыней, которую она умеет особенно упорно и назойливо выпрашивать. Вдова эта, как обыкновенно, тотчас

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru начинает просить помощи. Помощь теперь ей особенно нужна для того, чтобы прокормить телка.

– А то съела она нас с старухой. Вы зайдите, посмотрите.

– А что старуха?

– Да что старуха – скрипит.

Я обещаю зайти посмотреть не столько телку, сколько старуху. Опять спрашиваю, где дом солдатки. Вдова же указывает мне избу через двор и успевает прибавить, что «бедны-то бедны, да уж очень пьет деверь ихний»...

Иду по указанию вдовы к дому через двор.

Как ни жалки по деревням дома бедных людей, такого заваливающегося дома, как дом солдатки, я давно не видал. Не только вся крыша, но и стены перекошились, так что окна кривые.

Внутренность не лучше внешности. Маленькая избушка с печкой, занимающей треть ее, вся была перекошена, черная, грязная и, к удивлению моему, полна народа. Я думал найти одну солдатку с ее детьми, но тут и золовка, молодая баба с детьми, и старуха свекровь. Солдатка же сама только вернулась от меня и, иззябшая, греется на печке. Пока она слезает, свекровь мне рассказывает про их житье. Сыновья ее, два брата, жили первоначально вместе. Все кормились. «Да нынче уже кто же живет вместе. Все поделены, – говорит словоохотливая свекровь. – Стали бабы ругаться, разделились братья, жисть еще хуже стала. Земля малая. Только и кормились, что заработками. Да вот Петру отдали. Куда же ей теперь с ребятами деться? Так и живет с нами. Да всех не прокормить. Что и делать, не придумаем. Сказывают, вернуть можно».

Солдатка слезает с печи и тоже продолжает просить о том, чтобы я похлопотал вернуть мужа. Я говорю, что этого нельзя, и спрашиваю, какое имущество осталось у нее после мужа. Имущества никакого нет. Землю муж, уходя, отдал брату, ее деверю, чтобы он кормил ее с детьми. Было три овцы, да две пошли на проводы мужа. Осталось, как она говорит, только рухлядишка кое-какая, да овца, да две курицы. Всего и имущества. Свекровь подтверждает ее слова.

Спрашиваю солдатку, откуда она взята. Взята она из Сергиевского.

Сергиевское – богатое большое село, в сорока верстах от нас.

Спрашиваю: живы ли отец, мать и как живут.

– Живут, – говорит, – хорошо.

– Отчего бы тебе к ним не поехать?

– Я и сама думаю. Да боюсь, не примут саму-четверту.

– А может, и примут. Напиши им. Хочешь, я напишу?

Солдатка соглашается, я записываю имя ее родителя.

Пока я разговариваю с бабами, одна, старшенькая из детей солдатки, толстопузая девочка, подходит к ней и, дергая ее за рукав, что-то просит, кажется, просит есть. Солдатка говорит со мною и не отвечает. Девочка еще раз дергает и что-то бормочет.

– Пропasti на вас нет! – вскрикивает солдатка и с размаху ударяет девчонку по голове.

Девчонка заливается ревом.

Окончив свои дела здесь, я выхожу из избы и иду ко вдове с телкой.

Вдова уже ждет меня перед своим домом и опять просит войти взглянуть на телку. Я вхожу. В сенях, точно, стоит телка. Вдова просит взглянуть на нее. Я гляжу на

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой to1stoy1eo.ru
телку и вижу, что вся жизнь вдовы так сосредоточена на телке, что она не может себе представить, чтобы мне могло быть неинтересно смотреть на телку.

Посмотрев на телку, я вхожу в дом и спрашиваю, где старуха.

– Старуха? – переспрашивает вдова, очевидно удивленная тем, что после телки меня еще может интересовать старуха. – На печи. Где же ей быть?

Я подхожу к печи и здороваюсь с старухой.

– О-ох! – отвечает мне слабый, хриплый голос. – Кто это?

Я называю себя и спрашиваю, как она живет.

– Какая моя жизнь?

– Что ж, болит что?

– Все болит. О-ох!

– Со мной доктор тут. Не позвать ли его?

– Дохтур? О-ох! Что мне твой дохтур! Мой вон где дохтур... Дохтур?... О-ох!

– Ведь старая она, – говорит вдова.

– Ну, не старше меня, – говорю я.

– Как не старше, много старше. Ей, люди говорят, годов девяносто, – говорит вдова. – У ней уже все виски вылезли. Ономясь обстригла ее.

– Зачем же обстригла?

– Да вылезли все, почитай. Я и обрезала.

– О-ох! – опять стонет старуха. – О-ох! Забыл меня бог! Не примает души. Он, батюшка, не вынет, сама не выйдет... О-ох!.. За грехи, видно. И глотку промочить нечем. Хоть бы напоследки чайку попить. О-ох!

Заходит в избу врач, я прощаюсь, и мы выходим на улицу, садимся в сани и едем в небольшую соседнюю деревеньку на последнее посещение больного. Врача еще накануне приезжали звать к этому больному. Приезжаем, входим вместе в избушку. Небольшая, но чистая горница, в середине люлька, и женщина усиленно качает ее. За столом сидит лет восьми девочка и с удивлением и испугом смотрит на нас.

– Где он? – спрашивает врач про больного.

– На печи, – говорит женщина, не переставая качать люльку с ребенком.

Врач всходит на хоры и, облокотившись на печку, нагибается над больным и что-то делает там.

Я подхожу к врачу и спрашиваю, в каком положении больная.

Врач не отвечает. Я всхожу тоже на хоры, вглядываюсь в темноту и только понемногу начинаю различать волосатую голову человека, лежащего на печи.

Тяжелый, дурной запах стоит вокруг больного. Больной лежит навзничь. Врач держит его за пульс левой руки.

– Что он, очень плох? – спрашиваю я. Врач не отвечает мне и обращается к хозяйке.

– Запали лампу, – говорит он.

Хозяйка зовет девчонку и велит ей качать люльку, а сама зажигает лампу и подает врачу. Я слезаю с хор, чтобы не мешать врачу. Он берет лампу и продолжает свои исследования над больным.

Девочка, заглядевшись на нас, недостаточно сильно качает люльку, и ребенок начинает пронзительно и жалостно кричать. Мать, отдавши врачу лампу, сердито отталкивает девочку и принимается сама качать.

Я опять подхожу к врачу. И опять спрашиваю, что больной.

Врач, все еще занятый больным, тихим голосом говорит мне одно слово.

Я не расслышал, что он сказал, и переспрашиваю.

– Агония, – повторяет врач сказанное слово и молча слезает с хор и ставит лампу на стол.

Ребенок не переставая кричит и жалостным и озлобленным голосом.

– Что ж, аль помер? – говорит баба, точно поняв значение слова, сказанного врачом.

– Нет еще, да не миновать, – говорит врач.

– Что же, за попом, значит? – недовольно говорит баба, все сильнее и сильнее качая раскричавшегося ребенка.

– Добро бы сам дома был, а то теперь кого найдешь, – гляди, все за дровами уехали.

– Больше тут мне делать нечего, – говорит врач, и мы выходим.

Потом я узнал, что баба нашла, кого послать за попом, и поп только успел причастить умирающего.

Едем домой и дорогой молчим. Думаю, что оба испытываем одинаковое чувство.

– Что у него было? – спрашиваю я.

– Воспаление легких. Я не ждал такого скорого конца, организм могучий, но зато и условия губительны. Сорок градусов температура, а на дворе пять градусов мороза, идет и сидит.

И опять замолкаем и едем молча довольно долго.

– Я не заметил на печи ни постели, ни подушки, – говорю я.

– Ничего, – говорит врач.

И, очевидно, понимая, о чем я думаю, говорит:

– Да, вчера я был в Крутом у родильницы. Надо было для исследования положить женщину так, чтобы она лежала вытянувшись. В избе не было такого места.

И опять мы молчим и опять, вероятно, думаем об одном и том же. Молча доезжаем до дома. У крыльца стоит великолепная пара коней цугом в козовых санях. Кучер красавец, в тулупе и мохнатой шапке. Это сын приехал из своего имения.

Вот мы сидим за обеденным столом, накрытым на десять приборов. Один прибор пустой. Это место внучки. Она нынче не совсем здорова и обедает у себя с няней. Для нее приготовлен особенно гигиенический обед: бульон и саго.

За большим обедом из четырех блюд, с двумя сортами вин и двумя служащими лакеями и стоящими на столе цветами, идут разговоры.

– Откуда эти чудесные розы? – спрашивает сын.

Жена рассказывает, что цветы эти присланы из Петербурга какой-то дамой, не открывающей своего имени.

– Такие розы по полтора рубля за штуку, – говорит сын. И он рассказывает, как

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru на каком-то концерте или представлении закидали всю сцену такими цветами. Разговор переходит на музыку и на большого знатока и покровителя ее.

- А что? Как его здоровье?
- Да все нехорошо. Опять едет в Италию. И всякий раз – проведет там зиму и удивительно поправляется.
- Переезд тяжел и скучен.
- Нет, отчего же, с express[1] всего тридцать девять часов.
- Все-таки скука.
- Погоди, скоро летать будем.

Третий день

Подати

Кроме обычных посетителей и просителей, нынче еще особенные: первый – это бездетный, доживающий в большой бедности свой век, старик крестьянин; второй – это очень бедная женщина с кучей детей; третий – это крестьянин, сколько я знаю, достаточный. Все трое из нашей деревни, и все трое по одному и тому же делу. Собирают перед Новым годом подати, и у старика описали самовар, у бабы овцу и у достаточного крестьянина корову. Все они просят защиты или помощи, а то и того и другого.

Первый говорит зажиточный крестьянин, высокий, красивый, стареющийся человек. Он рассказывает, что пришел староста, описал корову и требует двадцать семь рублей. А деньги эти продовольственные, и, по мнению крестьянина, деньги эти не следует брать теперь. Я ничего этого не понимаю и говорю, что справлюсь, узнаю в волостном правлении и тогда скажу, можно или нельзя освободиться от этого платежа.

Вторым говорит старик, у которого описали самовар. Маленький, худенький, слабый, плохо одетый человек рассказывает с трогательным огорчением и недоумением, как пришли, взяли самовар и требуют три рубля семь гривен, которых нет и добыть нигде.

Спрашиваю: за какие это подати?

- Какие-то, кто их знает, казенные, что ль. Где ж мы со старухой возьмем? И так еле живы. Какие же это права? Пожалейте нашу старость. Помогите как.

Я обещаюсь узнать и сделать, что могу. Обращаюсь к бабе. Худая, намученная, я ее знаю. Знаю, что муж пьяница и пять детей.

- Овцу описали. Пришли. Давай, говорит, деньги. Я говорю: хозяина нет, на работе. Давай, говорит. Где же я возьму. Одна овца, и ту забрали. – Плачет.

Обещаюсь разузнать и помочь, если могу, и прежде всего иду на деревню к старосте, узнать подробности, какие это подати и почему так строго взимаются.

На улице деревни останавливают меня еще две просительницы – бабы. Мужья на работе. Одна просит купить у ней холст, отдает за два рубля.

- А то описали кур. Только развела. Тем и кормлюсь, что соберу яичек, продам. Возьмите, холст хороший. Я бы и за три не отдала, кабы не нужда.

Отсылаю домой, когда вернусь, обсудим, а то, может, и так уладится. Не доходя до старосты, наперерез выходит еще бывшая школьница, быстроглазая, черноглазая, бывшая ученица моя, Ольгушка, теперь старушка. Та же беда – описали телку.

Иду к старосте. Староста, сильный, с седеющей бородой и умным лицом мужик, выходит ко мне на улицу. Я расспрашиваю, какие подати собираются и почему так вдруг строго. Староста рассказывает мне, что приказано строго-настроено очистить к Новому году всю недоимку.

- Разве велено, – говорю, – отбирать самовары, скотину?

– А то как же? – говорит староста, пожимая сильными плечами. – Нельзя же, не платят. Вот хоть бы Абакумов. – Он называет мне того достаточного крестьянина, у которого описали корову за какой-то продовольственный капитал. – Сын на бирже ездит, три лошади. Как ему не платить? А все ужимается.

– Ну, этот, положим, – говорю. – Ну, а бедных-то как же? – И называю ему стариков, у которых взяли самовар.

– Эти точно, что бедные, и взять не с чего. Да ведь там не разбирают.

Называю бабу, у которой взяли овцу. И эту староста жалеет, но как будто оправдывается тем, что не может не исполнять приказания.

Я спрашиваю: давно ли он старостой и сколько получает.

– Да что получаю, – говорит он, отвечая не на высказанный мною, а на невысказанный мой же, угадываемый им, вопрос, зачем он участвует в таком деле. – И то хочу отказаться. Тридцать рублей наше жалованье, а греха не оберешься.

– И что же, и отберут и самовары, и овец, и кур? – спрашиваю я.

– А то как же? Обязаны отобрать. А волостное уже торги назначит.

– И продадут?

– Да, натянут как-нибудь...

Иду к той бабе, которая приходила об описанной у нее овце. Крошечная избенка, в сенях та самая единственная овца, которая должна идти на пополнение государственного бюджета. По бабьему обычаю, хозяйка, нервная, измученная и нуждой и трудами женщина, увидав меня, с волнением начинает быстро говорить:

– Вот и живу: последнюю овцу берут, а я сама чуть жива с этими. – Указывает на хоры и печку. – Идите сюда, чего! Не бойтесь. Вот и кормись тут с ними, с голопузыми.

Голопузые – действительно голопузые, в оборванных рубашонках и без порток, – слезают с печи и окружают мать...

Еду в тот же день в волость, чтобы узнать подробности об этом для меня новом приеме взыскания податей.

Старшины нет. Он сейчас придет. В волости несколько человек стоят за решеткой, также дожидаются старшины.

Распрашиваю ожидающихся. Кто, зачем? Двое за паспортами. Идут в заработки. Принесли деньги за паспорта. Один приехал за копией с решения волостного суда, отказавшего ему, просителю, в том, что усадьба, на которой он жил и работал двадцать три года, похоронив принявших его стариков дядю и тетку, не была бы отнята от него внучкой того дяди. Внучка эта, будучи прямой наследницей дяди, пользуясь законом 9 ноября, продает в собственность и землю и усадьбу, на которой жил проситель. И ему отказано, но он не хочет верить, чтобы были такие права, и хочет просить высший суд, он сам не знает какой. Я разъясняю ему, что права эти есть, и это вызывает доходящее до недоумения и недоверия неодобрение всех присутствующих.

Едва кончился разговор с этим крестьянином, как обращается ко мне за разъяснениями по его делу высокий, с суровым, строгим выражением лица крестьянин. Дело его в том, что он вместе с односельцами копают руду железную на своих пашнях, копали спокон века.

– Нынче вышло распоряжение. Не велят копать. На своей земле не велят копать. Какие же это права? Мы только этим кормимся. Второй месяц хлопочем и нигде концов не найдем. И ума не приложим, разоряют, да и все.

Я ничего не могу сказать этому человеку утешительного и обращаюсь к пришедшему старшине с моими вопросами о тех решительных мерах, которые прилагаются у нас

Три дня в деревне. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru для взыскания недоимок. Спрашиваю и о том: по каким да по каким статьям собираются подати. Старшина сообщает мне, что всех видов податей, по которым собираются теперь недоимки с крестьян, семь; 1) казенные, 2) земские, 3) страховые, 4) продовольственные долги, 5) продовольственного капитала взамен засыпи, 6) мирские волостные, 7) сельские.

Старшина говорит мне то же, что и староста, что причина особенной строгости взыскания – предписание высшего начальства. Старшина признает, что трудно собирать с бедных, но уже не с таким сочувствием, как староста, относится к беднякам и не позволяет уж себе осуждать начальство и, главное, почти не сомневается в необходимости своей должности и безгрешности своего участия в этих делах.

– Ведь нельзя же и потачки давать...

Вскоре после этого мне случилось говорить об этом же с земским начальником. У земского начальника этого уже очень мало было сочувствия к трудному положению бедняков, которых он почти не видал, и так же мало сомнений в нравственной законности своей деятельности. Хотя в разговоре со мной он и соглашался, что в сущности покойнее бы было и вовсе не служить, он все-таки считал себя полезным деятелем, потому что другие на его месте были бы хуже. А раз живя в деревне, почему же не воспользоваться хоть небольшим жалованьем земского начальника.

Суждения же губернатора о собирании податей, необходимых для удовлетворения нужд людей, занятых благоустройством народа, были совершенно свободны от каких бы то ни было соображений о самоварах, телках, овцах, холстах, отбираемых от деревенской бедноты, не было уже ни малейшего сомнения о пользе своей деятельности.

Министры же, и те, которые занимаются торговлей водкой, и те, которые заняты обучением людей убийству, и те, которые заняты присуждениями к изгнаниям, тюрьмам, каторгам, вешанию людей, все министры и их помощники, – эти уже вполне уверены, что и самовары, и овцы, и холсты, и телки, отбираемые от нищих, находят самое свое лучшее помещение в приготовлении водки, отравляющей народ, в изготовлении орудий убийства, в устройстве тюрем, арестантских рот и т. п. и, между прочим, и в раздаче жалований им и их помощникам для устройства гостиных и костюмов их жен и для необходимых расходов по путешествиям и увеселениям, предпринимаемым ими для отдохновения от тяжести несомых ими трудов ради блага этого грубого и неблагодарного народа.

Примечания

1 экспрессом (франц.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tolstoyleo.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!